

Опубликовано в журнале: «Знамя» 2000, №12

Александр Эткинд

Из измов в демократию: Айн Ранд и Ханна Арендт

версия для печати (4697)

Два имени странным образом созвучны; впрочем, одно из них настоящее, а другое псевдоним. Обе женщины были философами и обе — европейскими эмигрантками. Одна бежала в Америку из большевистской России, другая — из нацистской Германии. Обеим, Алисе Розенбаум из Петербурга и Ханне Арендт из Кенигсберга, чрезвычайно повезло. Шансы погибнуть в лагере были намного больше, чем шансы жить и работать. Но чувства обеих, как они запечатлены в текстах, очень далеки от торжества. Напротив, они выразили свой опыт в тревожных и трагических предупреждениях. Сочинения Ранд и Арендт рассказывали не об их удачах в Америке, но о том, какие беды ждут эту страну, если она пойдет по пути Германии и России. Опыт оставленной Европы использовался как предупреждение американской демократии и демократии вообще. Запомним это наблюдение, пока еще ничем не подкрепленное, как проблему, требующую решения.

Алиса из страны чудес

Зиновий Розенбаум держал в Питере аптеку. Несмотря на еврейское происхождение и ограниченные средства, он смог дать дочери отличное образование: в женской гимназии Алиса училась вместе с Ольгой Набоковой, сестрой писателя. После большевистского переворота Розенбаумы тоже уехали в Крым. Набоковы сумели, продавая по пути драгоценности, вырваться в Англию, а вполне обнищавшим Розенбаумам пришлось вернуться в Петроград. Алиса поступила в университет, который окончила в 1924 году по актуальной специальности “социальная педагогика”. Потом она зарабатывала продовольственные карточки, водя экскурсии по Петропавловской крепости. Пережив революцию и военный коммунизм, она не узнала в них эксперимента, ведущего в царство свободы, — надежда многих, кто жил в России, и почти всех, кто посещал страну. Ее личным выводом из советского опыта была ненависть к левым идеям, как бы они ни назывались. В 1926 году она подала документы на выездную визу, и ей повезло. Через Ригу она добралась до Нью-Йорка. Ей был двадцать один год. Мать и отец Алисы остались в отказе. Они умрут в Питере во время блокады.

Это все, что мы знаем о русском периоде Алисы Розенбаум. Начав печататься, она взяла псевдоним Айн Ранд, происхождение которого неизвестно; по-немецки это значит нечто вроде “границы”. Воспоминаний Ранд не писала, но рассказала о своем русском прошлом в романе “Мы, живые”, который закончила в 1934 году. В той просоветской атмосфере — дипломатические отношения были только что восстановлены, в Москву поехал Уильям К. Буллит, а Рузвельт готовился к союзу со Сталиным — роман не имел успеха. Он стал бестселлером на пике “холодной войны”, в 1959-м (год максимального успеха “Лолиты” и “Доктора Живаго”), и допечатывается до сих пор: продано два миллиона экземпляров, немало по любым масштабам. Как Ранд объясняла с оглядкой на левых американцев, ездивших в Россию как на паломничество:

это первый рассказ, написанный русским, который знает условия жизни в новой России и который действительно жил под властью Советов [...] Первый рассказ, написанный человеком, который знает факты и который спасся, чтобы о них рассказать.

Героиню зовут Кира Аргунова. Она сильная красивая девушка, землячка и ровесница автора и ее улучшенный автопортрет. Как это случилось с самой Алисой, семья Киры возвращается из Крыма в голодный Петербург 1922 года. Теплушка полна солдат и мешочников, вокруг грызут семечки и поют “Эх, яблочко”. Кира поступает в Технологический институт и участвует в собраниях комсомольской ячейки. Она сходится с лихим парнем, который при первой встрече принял ее за проститутку; она приняла его за вора. Этот Лева Коваленский оказывается сыном царского адмирала, расстрелянного большевиками. Вместе они пытаются бежать за границу, но их берут посредине Финского залива. У Левы развивается чахотка. Чтобы спасти любимого, Кира отдается герою Гражданской войны, следователю ГПУ Андрею Таганову. Так завязывается любовная интрига нового типа. Беря деньги у Андрея, Кира лечит Леву; но ее все больше притягивает чекист. У него свои неприятности: его обвиняют в троцкизме. Накануне чистки он предлагает Кире бежать за границу, но она не может бросить Леву. Разоблачая партийных боссов, Андрей раскрывает финансовую схему, в которой в качестве юного нэпмана участвует Лева. Так мужчины Киры узнают друг о друге. Андрей освобождает Леву и кончает с собой. Лева бросает Киру. Та пытается пересечь латвийскую границу, и ее подстреливает часовой. Она истекает кровью ночью на снегу в белом платье. По словам автора,

“Мы, живые” не рассказ о Советской России в 1925. Это рассказ о диктатуре, любой диктатуре, везде и во все времена, будь то Советская Россия, нацистская Германия или — что, возможно, этот роман помог предотвратить — социалистическая Америка.

Жизнеописания троцкистов, нэпманов и проституток увлекательны сами по себе; но главная проблема в другом. Показывая Киру во всех видах и позах, автор вызывает сочувствие к ней независимо от моральной оценки ее действий. В мире насилия перестают действовать нормы, обычные для ситуаций свободного выбора. Нетривиальные действия Киры оправдываются не моралью или законом, а внутренним протестом. Как писала Ранд много позже,

Вынужденное подчинение насилию не есть согласие на него. Все мы вынуждены подчиняться законам, которые ущемляют наши права; но пока мы боремся за изменение этих законов, наше подчинение им не является согласием с ними.¹

Читатель потому сочувствует Кире, что бы та ни делала, что имеет доступ к ее протестующему сознанию. В условиях “объективной” несвободы единственным критерием морали является “субъективный” протест. Насилие заставляет подчиняться, а скрытый протест является единственным отличием морального поведения. Человеческая мораль предполагает свободный выбор. Нет свободы — значит, нет ответственности и, значит, нет нравственности. Но в реальных обществах мало кто имеет такую роскошь, как свобода. Этическая теория, начиная с Канта полагающая свободу за основание нравственности, плохо сходится с политической теорией, которая начиная с Токвиля видит в свободе редкостное достижение, требующее сложных и развитых институтов. Во что превращается категорический императив под пыткой? Однако мы знаем, что и в этих условиях одни достойны большего уважения, чем другие. На каком основании мы выбираем между ними? Как возможно моральное суждение в условиях несвободы?

Общества, которые лишили себя свободы, состоят из многих иерархических уровней. Каждый отдельный уровень подвергается принуждению, исходящему от более высокого уровня. Значит ли это, что вся ответственность лежит на лидерах? Такова была логика Нюрнбергских процессов, которые судили только руководителей нацистского государства. Одновременно с ними Карл Ясперс писал свой “Вопрос о виновности”, в котором определил разные типы вины. Есть вина фактическая, которую разделяют соучастники преступления и которую определяет суд. Есть

виновность моральная и политическая, которую разделяют те, кто своими действиями — например, голосованием за нацистов в 1933 году — сделал преступление возможным. И наконец, есть виновность такого уровня, — Ясперс назвал это метафизической виной, — которую разделяют все современники преступления независимо от своего участия-неучастия. Замечу попутно, что русская философия ни в православных, ни в марксистских ответвлениях не вела и не ведет подобной дискуссии. И наверняка не потому, что местная история не предоставляет нужного материала.

В своем романе Ранд изобразила чиновника, который организует и лично проводит зловещие мероприятия режима: Андрей Таганов, который покупает тело Киры, — начальник следственного отдела столичного ГПУ. Но герой сложнее, чем его должность, и в конце концов добивается любви Киры. Позже Ханна Арендт напишет книгу о примерно равном по званию чиновнике нацистской Германии, одном из организаторов холокоста Адольфе Эйхмане. Зло банально, писала Арендт, изображая кровавого злодея как скучнейшего из людей. Эйхман был чиновником, выполнявшим чужие приказы, но это не освобождает его от ответственности. Человеческие институты основаны на презумпции свободы, и возможность отказа от участия сохраняется даже в самых бесчеловечных режимах. Нацист и чекист в равной степени свободны не делать ту карьеру, которую сделали. Ранд в своем вымышленном Таганове показала более сложную динамику, чем Арендт в своем реальном Эйхмане. Троцкист входит в оппозицию режиму. Он судит себя сам, забирая собственную жизнь вместо того, чтобы, как Эйхман, скрываться от своих уцелевших жертв. Поэтому он достоин сочувствия читателя и любви героини. В отличие от Арендт, Ранд сохраняет за своим героем важнейшие из прав человека — на сомнение, на раскаяние и, наконец, на изменение.

“Мы, живые” подвергался критике как ницшеанский роман, в котором Кира изображена феминистским сверхчеловеком, которой все позволено; и потому же, за силу, она влюбляется в Андрея. Такое чтение несправедливо, потому что не видит ключевой слабости главных героев. Кира и Андрей слабее отвратительных, но знающих свою групповую пользу партийцев. Оба подчиняются из слабости, а протестуют из силы; но сила, выраженная в протесте, в конкретных условиях ведет к заведомому поражению. Оба погибают, когда перестают скрывать свой протест. Внутренний протест способен оправдать женщину, продающую свое тело, и мужчину, продающего свою совесть. В попытке Ранд оправдать Киру я вижу одно из воплощений трагической мысли XX века, которая, как это было и у Ясперса, и у Арендт, пыталась найти возможность морального выбора в условиях запредельного насилия.

Объективизм: философская утопия

В полуразрушенном послереволюционном университете Алиса была студенткой неоплатоника Николая Лосского. Осенью 1922 года профессор уехал из России; если его лекции успели произвести впечатление на юную Алису, оно было негативным. Вслед за Соловьевым и основным руслом отечественной традиции Лосский верил в скорый рай на преображенной земле. Вместе с Бердяевым и другими современниками он воспринимал русскую революцию как начало предсказанной метаморфозы. Философы не сразу заметили, что царство Божие запаздывало с осуществлением, а заметив, продолжали учить об отложенном преображении. Даже в относительно благополучном, тоже американском конце своего пути Лосский продолжал верить:

Печальный опыт истории показывает, что весь исторический процесс сводится лишь к подготовке человечества к переходу от истории к метаистории, то есть “грядущей жизни” в

царстве Божиим. Существенным условием совершенства в том царстве является преобразование души и тела.²

1 The Ayn Rand Lexicon. New York: New American Library, 1986, p. 129.

2 Н. Лосский. История русской философии. Москва: Советский писатель, 1991, с. 475.

Подобные и, вероятно, более горячие речи в холодных аудиториях революционного Петрограда выработали аллергию к мистическим планам преобразования души и тела. Бывшая студентка Лосского прочно ассоциировала неоплатоновскую мистику с советским режимом.

В сегодняшней культуре доминирует философия мистицизма-альтруизма-коллективизма, следствием которой является сильное государство в разных его формах: коммунистическое, фашистское или так называемое государство всеобщего благосостояния.¹

Собственную родословную Ранд, пропуская многие стадии от Платона как раз до Лосского, начинала прямо от Аристотеля.

Философия Аристотеля была интеллектуальной Декларацией Независимости. [...] Она определила главные принципы рационального взгляда на бытие и сознание: что существует только одна реальность, [...] что задача человеческого сознания в том, чтобы воспринимать, а не создавать реальность, и [...] что А есть А.²

Мало кто из философов не морщился, читая эти дефиниции — если, конечно, читал их. Главным и несомненным талантом Ранд было умение упрощать. Она доводила идею до ее крайности, высказывая сильные мнения с шокирующей уверенностью. Она назвала свое учение “объективизмом” и считала его логическим следствием веры в то, что “А есть А”.

Она не сделала академической карьеры, но осталась эзотерической фигурой, предметом культа. Она опубликовала четыре романа-бестселлера и десяток философских книг; в Калифорнии есть институт ее имени. Хиллари Клинтон иногда ссылается на нее как на образец. Идеи Ранд правее взглядов большинства университетских либералов, а найденный ею жанр — сочетание философского романа с эротической авантюрой — еще менее приемлем для американской академии. Но социологические опросы, не знаю, насколько достоверные, называют “Потрясенный Атлас” Ранд самой популярной американской книгой после Библии. Для оценки ее влияния более важно, что в середине 1950-х в культовый кружок, регулярно собиравшийся с целью чтения Ранд в ее присутствии, входил Алан Гринспан.³ С 1987 года он возглавляет Федеральную резервную палату, американский аналог Центрального банка. Плавный экономический подъем Америки на рубеже веков — в немалой степени его заслуга. На вершине своего успеха Гринспан так вспоминал о Ранд:

Именно она убедила меня долгими разговорами и ночными спорами, что капитализм не только эффективен и практичен, но морален. Ранд считала, что капитализм превосходит другие социоэкономические системы, такие, как феодализм и социализм, потому, что только капитализм основан на добровольном обмене между рациональными индивидами, заботящимися о собственном интересе.⁴

Россия XXI века, проходящая болезненную школу капитализма, вправе испытывать патриотическую гордость: самый успешный американский финансист XX века проходил ту же школу у уроженки Санкт-Петербурга. В апреле 2000 года экономический советник российского

президента Андрей Илларионов на презентации русского перевода “Потрясенного Атласа” назвал Ранд своим кумиром и сообщил, что рекомендовал читать эту книгу президенту. Переводчики объявили, что будут добиваться утверждения этого романа в качестве обязательного чтения в средних школах.⁵

Наряду с Владимиром Набоковым и Иосифом Бродским Айн Ранд является третьим — хронологически первым — примером значительного успеха русского писателя, работающего на английском языке. Но Ранд вряд ли мечтала о том, что ее будут читать в русских переводах. Память об оставленных в России близких вызвала тревогу в течение десятилетий. Вплоть до 1960-х годов Ранд скрывала от американских друзей свою настоящую фамилию, опасаясь, что ее разглашение причинит вред ее родственникам в России. Писавшая по-английски тысячестраничные, рекордно успешные романы, она до конца жизни говорила с сильным русским акцентом. При первом знакомстве с ней в 1950-м ее поклонник почувствовал, что “она более русская, чем я мог себе представить”⁶. Вскоре восторженный Натаниел, на двадцать лет младше Айн, читал рукопись нового романа; даже почерк казался ему “европейским”. Она рассказывала юному любовнику о том, что $A=A$, о петербургских прототипах “Мы, живые” и еще о Достоевском, который оставался ее любимым писателем; любимым романом были, как нетрудно угадать, “Бесы”. Если первые ее произведения — “Мы, живые” и “Гимн” — посвящены переработке болезненного российского опыта, то в двух последних, самых известных романах “Источник” и “Потрясенный Атлас” об оставленной родине нет ни слова. Но везде очевидны идеологические уроки русской революции.

1 *The Ayn Rand Lexicon. New York: New American Library, 1986, p. 95.*

2 *Ibid, p. 34.*

3 *Jeff Walker. The Ayn Rand Cult. Chicago: Open Court, 1999, pp. 203–219.*

4 *John Cassidy. The Fountainhead — New Yorker, 24, 2000, p.127.*

5 *Catherine Belton. Putin’s Adviser Extols Ayn Rand — Moscow Times, April 26, 2000.*

6 *Nathaniel Branden. My Years with Ayn Rand. San Francisco: Jossey-Bass, 1999, p. 34.*

Из своей ключевой интуиции, что A равно A и должно всегда таким оставаться, Ранд делала вывод о том, что главным злом в экономике является инфляция, которая нарушает это тождество. Инфляция есть следствие раздутого государства. Инфляция есть цифровое выражение левых идей. Ничто, даже экономический рост, не оправдывает инфляцию. Политика Гринспана основана на том же убеждении; остальное — дело техники. Сегодня все это общеизвестно, но Ранд проповедовала накануне очередного поворота Америки налево. В 1965-м во время студенческих волнений в Беркли, она писала так:

Социальное движение, которое началось с тяжеловесных, головоломных конструкций Гегеля и Маркса, закончилось ордой неумытых детей, топчущих ногами и визжащих: “Я хочу прямо сейчас”¹

После Платона главным ее философским врагом был Кант, “первый хиппи в истории”. Начиная с него, философия занималась только тем, что доказывала импотентность человеческого разума. Согласно Ранд, наше время завершает длинный путь саморазрушения, который начал Кант, когда разорвал разум и реальность и, таким образом, лишил западного человека его оружия.

Современные философы, например лингвистические аналитики, только тем и занимаются, что убеждают студентов в их неспособности понимать реальность как она есть. Восставая против западной традиции, Ранд искала опору в здравом смысле бизнесмена, ценящего свое личное понимание как главное из средств практической жизни. “Человеческий разум является главным средством выживания и самозащиты. Разум является самым эгоистичным из человеческих качеств: [...] его продукт — правда — делает человека особенным, негибким, недоступным власти”. Ее критика сосредоточилась на коллективизме, на этике индивидуальной жертвы во имя группы.

Коллективизм не считает жертвенность временным средством, направленным на достижение желаемой цели. Жертва есть самоцель, жертва есть способ жизни. Коллективисты хотят уничтожить независимость, успех, благополучие и счастье человека. Посмотрите на то рычание, ту истерическую ненависть, с которой они встречают всякий намек на то, что жертва не есть необходимость, что возможно общество, не основанное на жертве, и что только в таком обществе человек может достичь благополучия².

Современная философия не есть рационализация невроза современного человека — она есть его причина, считала Ранд. “Практическим результатом современной философии является сегодняшняя смешанная экономика”; в более решительном настроении она утверждала, что современная ей Америка реализовала все положения “Коммунистического манифеста”.³ Обращаясь к бунтующим студентам, Ранд писала:

идеи ваших профессоров правили миром в течение последних пятидесяти лет, причиняя ему все большее опустошение, [...] и сегодня эти идеи разрушают мир так же, как они разрушили ваше уважение к самим себе⁴.

1 Ayn Rand. The Return of the Primitive. The Anti-Industrial Revolution. New York: Penguin, 1970, p. 37.

2 Ibid, p. 76.

3 Ibid, pp. 105, 45.

4 Ibid, p. 94.

Как и большинство консерваторов, Ранд придавала идеям каузальное значение. Только с такой позиции можно говорить об интеллектуальной ответственности. Если верить в то, что идеи ведут к поступкам, человека можно призвать к ответственности за идеи. Радикальная мысль, наоборот, всегда ценила материалистические схемы. Среди прочих своих функций они полезны тем, что лишают саму мысль причинного значения, а значит и ответственности за собственные следствия.

Если вы хотите увидеть ненависть — не смотрите на войны или концлагеря, все это лишь следствия. Почитайте труды Канта, Дьюи, Маркузе и их последователей, и вы увидите чистую ненависть — ненависть к разуму и ко всему, что он за собой влечет — способности, достижения, успех.¹

На время вооружившись Ницше, она идентифицировала себя с Аполлоном, а своих врагов от Гераклита до самого Ницше и далее до Маркузе — с Дионисом. Сущность враждебного клана она определяла через три понятия: мистицизм, альтруизм, коллективизм. Взятые вместе, они ведут к антииндустриальной революции, считала Ранд. Если идеи новых досократиков окончательно

победят в сознании американцев, их повседневная жизнь превратится в подобие советской жизни. Все зарплаты будут равны, а поскольку одинаково платить за хорошую и плохую работу явно несправедливо, хорошая работа будет запрещена; исчезнут холодильники, лампочки и бритвы; обездоленных людей будет одолевать необоримая скука. Ранд признавала, что ее идея — треугольная связь между разумом, эгоизмом и общим благом — неоригинальна. С другой стороны, ее предшественники — Аристотель, Адам Смит или Джон Стюарт Милл — не имели и сотой доли того опыта осуществленных утопий, которым располагали авторы и читатели середины XX века.

Тоталитаризм: политическая антиутопия

Ханне Арендт из Кенигсберга тоже повезло. В шестнадцать лет она покинула свой город, германское окно на Восток, так напоминающее историей своих переименований, пока еще не законченной, наше русское окно в Европу. Я не буду рассказывать о любовной связи юной Ханны с Мартином Хайдеггером². 34-летний Хайдеггер работал над главной своей книгой, “Бытие и время”; Ханне было 19, она только вырвалась из дома. Озабоченный невыразимостью Бытия, Хайдеггер хранил роман в тайне от жены. По этой или другой причине, Ханна в том же году переехала в Гейдельберг, где ее профессором был другой великий философ, Карл Ясперс. Потом Хайдеггер благословил нацизм, а Арендт бежала от него. После войны и в течение почти всей оставшейся жизни они сумели совместить глубочайшие политические различия с продолжением личной дружбы.

Она жила в Германии до весны 1933 года, когда ее арестовали нацисты. По случаю, в тюрьме она сидела недолго. Сразу после освобождения она нелегально бежала в Париж, сделав то, что была абсолютно не способна — хоть по льду, хоть ползком — сделать за десять лет до того Алиса Розенбаум. Нацисты не овладели еще искусством тотального контроля, в этом их намного опередили большевики. Осенью 1940 года Арендт получила американскую визу. Потом Арендт так вспоминала о своих переживаниях:

Я все равно собиралась эмигрировать. Я сразу поняла, что евреям нельзя оставаться. [...] Вдобавок я знала, что дела пойдут все хуже и хуже. И все-таки я не уехала тихо и мирно. Надо сказать, это доставляет мне некоторое удовлетворение. Я была арестована, должна была уехать нелегально, [...] и чувствовала, что хоть что-то я сделала!³

Она не узнала ни пыток тела, ни чувства вины за участие в делах режима. В Нью-Йорке Арендт узнала о массовом уничтожении евреев. Чувство причастности к своему прошлому не оставляло ее спустя десятилетия. Она не была сионисткой, но примкнула к одной из сионистских организаций.

Если кого-либо атакуют как еврея, он должен защищаться как еврей [...] Принадлежность к еврейству стала моей собственной проблемой, и эта проблема была политической. Чисто политической!⁴

¹ *Ibid*, p. 86.

² Скандальную версию этих отношений см. Elzbieta Ettinger. *Hannah Arendt/Martin Heidegger*. New Haven: Yale University Press, 1995; более сдержанное сопоставление двух философов см. Dana R. Villa. *Arendt and Heidegger: The Fate of the Political*. Princeton University Press, 1996; я пользовался также двумя биографиями: John McGowan. *Hannah Arendt. An Introduction*. University of Minnesota Press, 1998; Young-Bruehl.

3 *Hanna Arendt. Essays on Understanding, 1930–1954, ed. Jerome Kohn. New York: Harcourt Brace, 1992, p. 5.*

4 *Ibid, p. 7.*

Именно это чувство Ясперс назвал “метафизической виной”: идентификацию с жертвами и, тем самым, обязательство рассчитаться с палачами. Как писал Ясперс,

Есть такая солидарность между людьми как таковыми, которая делает каждого тоже ответственным за всякое зло, [...] особенно за преступления, совершаемые в его присутствии или с его ведома. Если я не делаю того, что могу, чтобы предотвратить их, я тоже виновен. [...] я чувствую себя виноватым таким образом, что никакие [...] объяснения тут не подходят.¹

Объяснения не подходят потому, что метафизическая вина Ясперса является негативным феноменом: я чувствую свою вину не за то, что я сделал, а за то, чего не сделал. Формально рассуждая, эта область бесконечна; на деле она ограничена субъективно определяемой сферой солидарности. Подобно негативной свободе Исаяи Берлина, негативная вина Ясперса относится не ко всем мыслимым событиям, но к тем, которые входят в мое политическое пространство, потенциальную область моего интереса и действия.

В конце 1945 года Арендт начинает работать над книгой “Истоки тоталитаризма”, которая сделает ее знаменитой. Трактат, начатый по окончании “горячей” войны, был закончен в разгар “холодной” войны в 1951 года. Арендт уравнила два сражавшихся между собой режима, немецкий нацизм и советский коммунизм, противопоставив их обоим американской демократии. Недавний союзник и недавний противник Америки были объявлены воплощениями одной и той же формы “абсолютного зла”. Четыре признака тоталитаризма, по Арендт, таковы: трансформация классов в массы; замена многопартийной системы единым “движением”; контроль полиции над государственными институтами включая армию; внешняя политика, направленная на мировое господство.

Не Арендт придумала ключевое понятие: слово “тоталитаризм” появилось в Италии как гордое самописание режима Муссолини. Не Арендт ввела в оборот идею о сходстве советского коммунизма и немецкого нацизма: американские правые давно пользовались таким приемом, а американские левые боролись с ним. После заключения пакта Молотова—Риббентропа раскаявшийся американский троцкист Макс Истмен провозгласил тождество советской и нацистской систем и предложил понятие тоталитаризма как общее для обеих. “Сталинизм хуже фашизма по своей грубости, варварству, несправедливости, аморальности, антидемократичности”, — писал Истмен в 1939 году: московские процессы были живы в памяти, а о плане уничтожения евреев еще не было известно. Истмен насчитал 21 признак, общий для тоталитарных режимов и не известный в демократиях; Арендт потом укрупнила этот список.² В августе 1939 года четыреста американцев подписали Открытое письмо, которое выражало протест против “фантастических обвинений, что Советский Союз и тоталитарные государства практически одно и то же”. В романе Айн Ранд “Источник” эксплицитная и, в военное время, небезопасная аналогия между союзником и противником Америки проводилась в 1943 году. Отрицательный герой этого романа, социолог левых взглядов, вербует сторонника:

Посмотри на Европу, дурак. [...] Одна страна [...] рассматривает индивида как зло, а массу как Бога. [...] А вот другая страна [...] рассматривает индивида как зло, а расу — как Бога.

В обоих случаях, у Арендт и у Ранд, обе системы, коммунистическая и фашистская, были важны как воплощения угрозы, актуальной для Америки.

Фашизм и коммунизм не две противоположности, но две банды, конкурирующие за одну территорию. [...] Это два варианта государства, основанного на коллективистской идее, что человек является бесправным его рабом.³

Идеи суть инструменты, учит нас американский прагматизм; во время войны идеи становятся оружием. Книга Ханны Арендт была оружием холодной войны, и ее эффективность должна быть оценена как таковая. Концепция, описывавшая сходства и игнорировавшая различия между германским нацизмом и советским коммунизмом, была востребована тогда, когда стала необходима. Теория тоталитаризма была подхвачена академиками, делавшими реальную политику США, как советник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский и один из авторов конституции ФРГ, гарвардский профессор Карл Фридрих. После 1968 года концепция считалась устаревшей, критиковать ее в Америке стало хорошим тоном, и в конце концов упоминать само слово “тоталитаризм” в академической аудитории стало неприличным⁴. Зато в России после 1991 года слово “тоталитаризм” стало употребляться как всеобъясняющий ярлык, негативный синоним Советской власти; стали появляться и новые образцы словотворчества, например, “тоталитарные секты”.

Как мне кажется, академическая критика Арендт до некоторой степени основана на непонимании хорошо забытых определений. Современные историки сходятся в том, что лидерство пользовалось лишь ограниченной поддержкой советского народа, что контроль не был всеобщим и что иногда низы сами требовали репрессий верхов в надежде на вертикальную миграцию. На этом основании делается вывод о том, что тоталитарная теория является наследием “холодной” войны и не соответствует историческим реальностям. Между тем Арендт как раз и утверждала, что тоталитарное общество создается снизу и, в определенных условиях, отвечает глубоким потребностям масс. Именно этим тоталитарный режим отличается от тирании.

Арендт видела нацистский и советский режимы царствами диких мифологических сил, не имеющих ничего общего ни с интересами правительств, ни с благосостоянием масс, ни вообще с инструментальной рациональностью. Когда Гитлер уничтожил население сумасшедших домов, кто-то объяснил это стремлением уменьшить количество едоков в условиях военного времени. Ничего подобного, утверждает Арендт: пользуясь благоприятной ситуацией войны, Гитлер осуществил давний свой план. ГУЛАГ тоже рос вопреки всякой целесообразности, и целину осваивали не для того, чтобы решать продовольственную проблему. Социальная наука подходит к политическим институтам на основе представления об их явной или скрытой функциональности. Арендт утверждает бессмысленность этой идеи в применении к тоталитаризму, но за этим стоит более широкий вывод. Атомарные индивиды считают свое одиночество, бедность и несчастье неизбежным своим состоянием, а литераторы дают этим чувствам все новые образы. Массы потеряли религию, а потом их выключили из политики. Зато они обрели “науку”, которая натурализует их несчастное существование, объясняя его социальными механизмами или законами истории. “Язык учености”, по словам Арендт, “соответствует потребностям масс”, и потому этим языком “так охотно пользовались тоталитарные режимы, а особенно советский”. Массы потеряли свое место в культурном мире и в поисках утешения стремятся “к реинтеграции в ряду вечных, господствующих над миром сил”⁵.

Зло не бывает совершенным

Обычный аргумент против концепции Арендт состоит в том, что ни одно из тоталитарных обществ не было совершенным: не все сферы жизни подлежали контролю, не все граждане поддерживали режим, и террор часто был для чего-то или для кого-то полезен. Однако нет ничего совершенного, и даже тоталитаризм не является исключением. Из того, что на свете нет абсолютно черного тела, не значит, что на свете нет черных тел или что понятие “чернота” является бесполезным. Это так же не значит, что тоталитарных обществ не было на свете и что концепция Арендт неверна. Подобное суждение основано на непонимании статуса политической теории. “Тоталитаризм” есть идеальный тип, а не исторический портрет, и сконструирован он с очевидными политическими целями, как, впрочем, и любая из теорий. “Истоки тоталитаризма” ставили перед собой классическую задачу испугать читателя, показав ему наглядную модель общества, в котором политические противники предлагают жить.

Если игнорировать различие между идеальным типом и эмпирическим описанием, не выдержит критики ни одна из политических теорий, от Гоббса до Хабермаса. Эта проблема вовсе не специфична. На свете нет абсолютно черных тел, но идея черного цвета остается полезной. Утопии не бывают вполне реализованы; антиутопии не бывают объективны. Это не отменяет значения тех и других. “Истоки тоталитаризма” есть антиутопия, одна из многих подобных попыток, известных XX веку, и самая развернутая. Как любая антиутопия, книга рассказывает об ужасах осуществления определенного утопического проекта, в данном случае двух; как любая антиутопия, она полна преувеличений; как любая антиутопия, она подлежит суждениям пользы и красоты в большей степени, чем суждениям исторической правды. Сравним трактат Арендт с первым опытом такого рода.

Роман “Мы” был закончен Замятиным в 1921-м и опубликован по-английски в 1924 году. Изображенные в нем люди тридцатого века достигли необычайных степеней технического могущества. Они не знают нужды, летают в космос и умеют делать тонкие хирургические операции, например, вырезать душу. Политическая система нового общества основана на отсутствии частной собственности, кастовой иерархии, слиянии частной и публичной жизни, массовой индоктринации, публичных пытках и казнях. Важной частью всего этого является особенный сексуальный режим. На регулярной основе любой член общества может заказать и получить секс с любым другим членом. Замятин показывает детальный контроль Государства над развлечениями граждан, их половой жизнью и исторической памятью. Общество целиком пропитано государством, частная сфера замещена публичной, а последняя основана на самоцельном, демонстративном терроре. Замятин показывает публичные пытки и казни, наследие феодального XVIII века, которое не стали реставрировать даже нацисты; к классическому эшафоту приближались только показательные процессы советских тридцатых годов.

На четверть века опередив “Истоки тоталитаризма”, роман Замятина не имел под собой того исторического материала, который имел ключевое значение для Арендт. Модель Замятина богаче модели Арендт в одной важной области. Арендт проигнорировала половую динамику нового общества, которой с понятным интересом занимались Замятин и следовавшие за ним беллетристы. Впрочем, Арендт тоже указывает на разрушение института семьи:

Атомизация масс в советском обществе была достигнута умелым использованием периодических чисток [...]. Очевидно, что элементарная осторожность требовала избегать близких контактов — не для того, чтобы скрыть свои тайные мысли, а для того, чтобы устранить вероятность, что другие

люди на тебя донесут [...] в силу необходимости разрушить тебя, чтобы избежать собственного разрушения (323).

Эти сильные слова не соответствуют исторической правде. На одного Павлика Морозова, якобы донесшего на своего отца, приходились тысячи людей, пытавшихся облегчить участь своих родственников.

Тоталитарные движения суть массовые организации атомизированных, изолированных индивидов. [...] Преданность можно ожидать только от полностью изолированного индивида, который, не имея социальных связей с семьей, друзьями, товарищами или даже просто знакомыми, получает свое место в мире исключительно от принадлежности к движению или членства в партии.⁶

Верно скорее обратное: люди тем больше ценят частную жизнь в семье и дружеском кругу, чем более разрушены остальные их связи. На деле режимы столетия много говорили о новой морали, но в области семейной жизни проявляли неожиданную умеренность. Какие бы эксперименты над полом и сексом ни предлагали отдельные мечтатели, все они провалились намного раньше, чем сами режимы. И в нацистской Германии, и в Советском Союзе разрушение общества останавливалось на структурах семьи. Тоталитарное общество, каким оно известно в Германии или России, состояло из атомизированных семей, а не изолированных индивидов. В области частной жизни советский эксперимент ограничился коммунальными квартирами, которые принадлежали к миру не идеологии, а нищеты. Впрочем, вполне особенным опытом была сексуальная культура ГУЛАГа, ужасающе близкая платоновским — от Платона до Платонова — аспектам всякой утопии.

1 Карл Ясперс. *Вопрос о виновности*. Москва: Прогресс, 1999, с. 19.

2 Max Eastman. *Stalin's Russia and the Crisis in Socialism*. New York: Norton, 1940, pp. 81–94.

3 Ayn Rand. *The Return of the Primitive*, pp. 74–75.

4 Солидный учебник социологии перечисляет четыре признака тоталитаризма по Арендт, чтобы заключить, что страны реального социализма им не соответствовали, поскольку “представляли собой общества более разнообразные, не укладывающиеся в рамки приведенного определения” (Энтони Гидденс. *Социология*. Москва: Эдиториал, 1999, с. 321.) Между тем как раз этому определению социалистические общества вполне соответствуют. Легко забывается, что идея тотального контроля, которой социалистические общества действительно не соответствуют, не содержится в дефиниции тоталитаризма по Арендт.

5 Hanna Arendt. *The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt, 1958, p. 350.

6 *Ibid*, p. 323.

Работа и действие

Для читателя “Истоков тоталитаризма” очевидна диспропорция между детальным анализом западноевропейского материала и схематичным обзором советского опыта. Осознавая эту асимметрию, через год после публикации “Истоков” Арендт подала заявку в фонд Гуггенхайма на грант для написания книги “Тоталитарные элементы” в марксизме. Рукопись этой книги

существует, но Арендт была недовольна ею и не стала ее публиковать. Переделка этого материала вылилась в книгу, ставшую знаменитой — “Состояние человека”¹.

Источником несогласия Арендт с Марксом являются противоположные трактовки частной и публичной сфер. Для Маркса история определяется развитием человеческого труда в его материальных, технологических воплощениях. Все остальное является надстроечным и, в конечном итоге, вторичным. Арендт переворачивает эти ценностные отношения. Подлинно историческим и человеческим является лишь политическое. Оно понято необычным и сложным способом: как речь, слитая с действием, разделяемая сообществом и продолжающаяся в бессмертии. Образцы такой политической практики, как, впрочем, и теории, ищутся в античных полисах.

Все человеческие заботы подразделяются Арендт на три категории: труд, работа, действие. Труд поддерживает биологическую жизнь, Марксов “обмен веществ с природой”; это есть дело животных, рабов и домохозяек. Труд создает продукты, которые потребляются сразу по изготовлении, как еда; трудясь, человек не поднимается над уровнем животного, он все еще animal laborans. Труд производится телом, работа — руками, действие — головой, а в особенности устами. Изготовление орудий труда, любимый предмет Марксовых спекуляций, для Арендт мало чем отличается от добычи хлеба насущного: оба процесса в равной степени направлены на цель физического выживания. Материальную, практическую, технологическую сторону жизни Арендт относит к сущностям низшего порядка — к частной сфере в сравнении с публичной, к труду и работе в сравнении с действием. Маркс в своей заботе об экономических интересах не понял значения публичной сферы, справедливо считала Арендт. Марксизм подчинил публичную сферу производству и ведению хозяйства, тогда как для Арендт все наоборот: частная сфера, например семейная или хозяйственная жизнь, не имеет значения по сравнению с публичной сферой и общественной речью. В мире Арендт человечность производится не трудом и не работой, но действием.

Согласно Арендт, реальность действия вся находится в сфере речи, общения и политики. Рабовладельцы не работали и не трудились, рассуждает она, но все же оставались людьми; лишь немое, не способное к общению существо теряет признаки человека. Публичная сфера есть область свободы, частная сфера есть область принуждения. Все это противоположно тому, что обычно чувствует современный человек: в обществах и буржуазных, и тоталитарных он редко находит свободу в политике и публичной речи, но постоянно ищет и находит защиту и убежище — иными словами, негативную свободу — в частной сфере своей семьи и своего дома. Айн Ранд так критиковала позицию Арендт:

Экзистенциализм возводит хроническую тревогу в сферу метафизики. Страх, несчастье, тошноту он объявляет не индивидуальной проблемой, но качеством человеческой природы, предопределенной особенностью “человеческого состояния”. Действие является единственным выходом для человека. Какое действие? Любое действие. Вы не знаете, как действовать? Не ведите себя, как цыпленок, смелость состоит в действии без знания.²

Для Арендт только действие есть область свободы и ответственности, а значит, вины. Тирания разрушает политическую жизнь. Те, кто уклоняется от политики, помогают тирану ограничивать их свободу. Нацизм победил не потому, что в стране было слишком много политики, но потому, что ее было слишком мало. Единственным средством против массового общества является демократия, а значит, политическое участие. Это в точности тот же аргумент, на основе которого когда-то, после путешествия в Америку, разбирался во Французской революции Токвиль.

Уходящие от невразумительных интересов Хайдеггера, идеи Арендт сближались с либеральной традицией Токвиля или Ясперса. Но разница оставалась существенной.

Согласно Арендт, тоталитаризм наследует западной политической традиции, потому что она вся основана на понимании правления как манипуляции человеческим материалом. Хороший правитель уподобляется ремесленнику, который знает образец для своего ремесла, а хороший мыслитель уподобляется эксперту, который знает единственные решения. Такое понимание действия уподобляет его работе и, тем самым, редуцирует высшие уровни человеческого бытия к низшим. На это Арендт возражала утверждением политики как античного агона, арены или театра, в котором свободно соревнуются ораторы и никто не знает верных путей. Действие всегда сопровождается словом: молчаливо только насилие. Действие неотрывно от мысли; более того, “в условиях тиранического господства значительно легче действовать, чем мыслить”³. Эти “условия” принципиально важны для Арендт, недавнего автора “Истоков тоталитаризма”. В условиях несвободы действие не является высшей формой жизни: таковой оказывается “мысль”. Значит, действие не исчерпывает сферу героического. Но мысль как таковая, в отрыве от публичности, политики и, наконец, действия, не интересуется Арендт.

В русской традиции “действие” у Арендт напоминает “диалог” у Михаила Бахтина. Но Бахтин писал о романе и уподоблял его политике; Арендт, наоборот, писала о политике и уподобляла ее античной трагедии. Кантовское определение эстетического как незаинтересованного, самоцельного отношения распространяется на политическое действие. Идеал Арендт уходит от политики в эстетику, от демократического, неманипулятивного принятия решения к большому театрализованному перформансу. Арендт иллюстрировала свои идеалы примерами из античной Греции, находя там буквальные и лучшие воплощения своего представления о действии. Со своей стороны, Исая Берлин утверждал, что в античном мире отсутствовали как идеал свободы, так и понятие о правах личности; но и Берлин верил, что в “реальной жизни” свобода у древних могла осуществляться.⁴ Для современного человека сочетание свободы с бесправием трудно представимо. Именно от такого сочетания рождались утопии, которые с полным правом можно назвать тоталитарными. Большая традиция англо-американского либерализма формировалась в борьбе с Платоном, первым из врагов открытого общества⁵. Как мы видели, к походу против Платона присоединилась и Ранд, в учителя взявшая не Платона, но первого его оппонента, Аристотеля. Арендт в своем воодушевлении политическим действием, каковы бы ни были его экономические или кровавые последствия, возвращалась к утопизму Платона.

Между Платоном и Марксом

В своей критике либеральной современности Арендт забывает о важнейшем из ее достижений, о правах человека. Для нее индивидуальные права принадлежат к той же до-политической сфере, что и насилие: сфере не публичной, но частной жизни, а значит, сфере нелюбимой ею социальности. Если античный полис не знал прав человека, то главные ее примеры “политического” из Нового времени — американская революция, французское Сопротивление, будапештское восстание — очевидно связаны с борьбой за индивидуальные и групповые права. Но Арендт нечего сказать о тех ситуациях, когда права эти гарантированы и, более того, соблюдаются на деле. Нарушение прав оказывается политическим актом, их соблюдение — нет. Хотя Арендт множество раз возвращается к проблеме античного рабства, восторг перед гражданами полиса очевидно более важен для нее, чем сочувствие к их рабам. Греки потому презирали рабов, считает Арендт, что те добровольно предпочли рабство самоубийству. Рабы, имея свободу расстаться с жизнью, выбирали исполнение телесных надобностей, а греки

презирали жизненную необходимость. Объявив самоубийство самым страшным из грехов (убийц хоронят на церковном кладбище, а самоубийц нет), христианство лишило человека последней свободы, сожалеет Арендт. Возможно, за этими рассуждениями стояла реальность более актуальная, чем античная: единственный выбор, который был у узников нацистского лагеря, выбор между рабством и самоубийством. Арендт сожалеет, что иудаизм и христианство научили нас ценить жизнь как таковую, жизнь любой ценой. В политической теории именно отсюда следует социальная ответственность правителя. Арендт не согласна: удовлетворение жизненных потребностей есть путь раба. Путем господина была свободная реализация личности и, конечно, желания. Но свобода господина обеспечивается работой раба. Странно, что рабство не мешает Арендт строить ретроспективную утопию прекрасной Греции. Так и ее восторженной истории американской революции не мешает то, что борцы за свободу оставались рабовладельцами. Война за независимость как борьба против политического владычества вызывает у Арендт несравненно больше интереса, чем Гражданская война как борьба за социальное равенство.

*1 Книга переведена на русский “с немецкого и английского” под своим немецким названием: Ханна Арендт. *Vita activa, или О деятельной жизни*. Перевод В.В. Бибихина. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000.*

*2 Ayn Rand. *The Return of the Primitive*, p. 90.*

*3 Ханна Арендт. *Vita activa*, с. 423.*

*4 Isaiah Berlin. *Two Concepts of Liberty — in his The Proper Study of Mankind*. London: Pimlico, 1998, p. 201.*

*5 Карл Поппер. *Открытое общество и его враги*. Москва: Культурная инициатива, 1992, т. 1–2.*

Поэт действия и свободы, Арендт не была либеральным мыслителем. Нечувствительность к правам человека резко отличает ее как от Токвиля, так и от следовавшей ему англосаксонской политической философии¹. Теория действия была новой попыткой описать человеческую свободу в содержательных терминах, что, возможно, есть задача, логически не разрешимая. В удобных терминах Исая Берлина, Арендт была поглощена позитивной концепцией свободы. Между тем основная апория либерализма состоит в приоритете негативной свободы, которая одна доступна рациональному определению, а значит, и правовому контролю. Достаточно определить те свободы, иначе говоря, права, которых субъекта нельзя лишать. Ту свободу, иначе говоря, действие, которое субъект в этих условиях выберет для себя сам, нельзя определить или контролировать именно потому, что это дело его свободного выбора. Только негативная свобода, или права человека, мыслима безотносительно к конкретному субъекту. Определение позитивной свободы субъекта ведет к ущемлению его негативной свободы.

Но история движется вперед, а политики ищут славы. История знает успешные реформы колонизаторов и просветителей, которые переделывали “человеческий материал”, не доходя до террора. Дело философа в том, чтобы совместить гарантии свободы с пространством для публичной активности — раскрыть секрет действия, которое одновременно было бы свободным и совместным. Согласно Исая Берлину, секрет в приоритете негативной свободы, иначе говоря, индивидуальных прав. Свобода собраний означает, что я могу ходить, а могу и не ходить на собрания любого рода. Всякая попытка позитивного определения свободы собраний ведет к тому, что меня заставят ходить на собрания, а точнее говоря, на Собрание.

Только концепция индивидуальных прав может противостоять трансформистской политике, которая относится к человеку как к средству. С головой погрузив субъекта в ткань публичных отношений, требуя от него не покоя и воли, но действия, и перенося свой идеал в античность, Арендт осудила то, чем отличается современный человек и чем он вправе гордиться: невиданный рост частной сферы и ее самоотделение от публичности. Технический прогресс и социальное перераспределение привели к тому, что множество ценностей и деятельностей, которыми раньше можно было заниматься только сообща, теперь оказываются индивидуальным или семейным делом. Даже информация, этот совместный мир миллионов, в подключенной в сеть “персональной” машинке обретает вкус и характер своего пользователя. При всех поворотах вспять XX век оказался временем грандиозной приватизации жизни.

Пытаясь дать корректное, не ограничивающее свободу представление о действии, Арендт удовлетворялась чрезвычайно абстрактными определениями. Пытаясь увести политическое за пределы политики, Арендт оставила вне рассмотрения важнейшие феномены публичной сферы, которые современный человек привык считать гарантами своей свободы и источниками ответственного действия: публичный журнализм, парламентские дебаты, избирательные механизмы и вообще демократическую политику. Американская политическая машина, европейская социал-демократия, современная политика не идут для Арендт ни в какое сравнение с временами Сократа и Перикла. Американское общество кажется ей обществом труда и потребления, царством победившего *animal laborans*. “Вполне мыслимо, что Новое время, начавшееся такой неслыханной [...] активизацией всех человеческих способностей и деятельностей, завершится [...] самой стерильной пассивностью, какую когда-либо знала история”. Более того, современный человек уже настроился на “превращение себя в тот животный вид, от которого после Дарвина он считает себя происходящим”².

Человечность как таковая определяется через публичную сферу: “Кто не знал ничего кроме приватной стороны жизни, кто подобно рабам не имел доступа к общественному или подобно варварам вообще [...] не учредил открытую всем публичную сферу, собственно человеком не был”³. Так рабы, варвары и граждане тоталитарных обществ лишаются права быть людьми. Арендт вполне отрицает возможность борьбы с тиранией путем ухода в частную сферу, которую утверждали как последнюю гарантию свободы Пушкин и Токвиль, а за ними Исайя Берлин и, в специфической форме частного предпринимательства, Айн Ранд.

Растворение человека в пространстве межчеловеческих отношений и соответствующее пренебрежение ко всему тому, что человек способен делать один, для себя и сам с собой, роднит Арендт с социалистическими мыслителями. На последней странице своей книги Арендт признает, что исключила мысль из объема и содержания “*Vita activa*”, хотя, добавляет она, мысль “все еще возможна”. Поскольку человек только в публичной сфере становится человеком, постольку общественное вмешательство в частную жизнь не кажется Арендт особенно опасным. Платон, “зашедший в отмене частной собственности так далеко, что можно говорить просто-таки об отмене у него частной жизни”⁴, продолжает пользоваться любовью Арендт. Страшнее кажется ей возможность захвата общественного диалога в частные руки, чего всегда опасались критики капитализма. Античные тираны, которые переделывали полис как свою расширенную семью, вызывают у Арендт сильнейшую антипатию как прообраз социал-демократических попыток свести политическое развитие к экономическому и социальному, к практической заботе о росте и справедливости. Все это ограничивает публичную сферу действия и, стало быть, враждебно ее философу. Антимодернистский характер политического идеала Арендт очевиден почти на каждой

странице “Vita activa”; и почти так же несомненна антиисторическая мифологизация далекой, едва ушедшей от шаманизма и кровавых таинств античности.

Если “Истоки тоталитаризма” объявляли “холодную” войну тоталитарной Европе, то “Vita activa” распространяет тот же жест на демократическую Америку. Воображением Арендт движет эмигрантская неудовлетворенность, более или менее разделяемая любым беженцем, и специфически немецкое романтическое наследие. Апология абстрактного действия в “Vita activa” есть самая большая уступка, которую Арендт когда-либо сделала наставнику ее юности, Хайдеггеру. Если читатель Арендт представит себе, в каких формах в современном обществе могло бы реализоваться действие, не уравновешенное правами, он увидит героя, театральным голосом провозглашающего новый порядок и слышащего восторженные крики толпы. Моя гипотеза, возможно, слишком сильная, состоит в том, что в своем понимании действия и в своих греческих примерах Арендт делает полный круг и возвращает нас к тоталитарной политике. Под видом найденного идеала мы знакомимся с юношескими воспоминаниями о нацистских лидерах или, вероятнее, о той архаической философии, которую они по-своему выражали.

Утопии и антиутопии сходны в своем интересе к техническим достижениям будущего. Химики сделают еду из нефти, как у Замятина. Психологи будут программировать развитие личности, как у Хаксли. Политики будут контролировать любое инакомыслие, как у Оруэлла. У Арендт полностью отсутствует этот интерес к технике. Между тем техническая база являлась определяющей базой любого тоталитарного режима. Лишь новые средства информации, транспорта и насилия делают возможным то, о чем не могли мечтать тираны Возрождения: всеобщий учет, сыск и слежку; гарантированное подавление сопротивления; пропаганду, однородную во всех классах и регионах; и наконец, массовые ликвидации. Для всего этого нужна техника XX века: телеграф, паровоз, радио, пулемет. Без них подобные режимы не могут существовать и не существовали. Странно, но “Истоки” Арендт молчат о технологической базе тоталитаризма. Молчат об этом и многие ее комментаторы; возможно, проблема кажется слишком очевидной. Ключевой вопрос для Арендт в том, служат ли человеку вещи, которые он создал, или же он служит вещам. “Состояние человека” начинается с восторга по поводу советского спутника 1957 года как нового образца героического, самоцельного действия. Благодаря мнимой бессмысленности этого свершения “человек более не является прикованным к земле”. Это воодушевление по поводу техники, которая через пару лет станет главной угрозой человечеству, сегодня кажется наивным. Таковой же является и вся философия Vita activa, с помощью которой Арендт пытается выйти из порочного круга левой утопии, которая оборачивается тоталитарной политикой.

1 О зависимости Арендт от Токвиля, которую она предпочитала скрывать чаще, чем оформляла ссылками, см. Hanna Fenichel Pitkin. The Attack of the Blob. Hannah Arendt's Concept of the Social. Chicago: The University of Chicago Press, 1998, ch. 7.

2 Ханна Арендт. Vita activa, с. 420.

3 Там же, с. 51.

4 Там же, с. 41.

Философия и эмиграция

В характере философской интуиции всякий раз сказывается политический опыт. Ханна Арендт бежала из нацистской Германии, в которой ущемления индивидуальных прав имели резкий, но избирательный характер. Промышленность оставалась в частном владении, фюрер и партия

поддерживали экономический рост, и интеллектуальная или инженерная элиты не нуждались в обосновании своих прав. Германская проблема состояла в радикально-позитивном определении жизни, которое дал нацизм всем, кроме евреев и двух-трех других групп. Идеология пользовалась поддержкой народа, и потому мечта о демократии не давала философского убежища. Нацистское определение политики следовало подвергнуть критике с тем, чтобы противопоставить ему тоже позитивные, но менее опасные ценности. Философской основой этого поиска оставался Платон, воспринятый через Хайдеггера; в этих рамках нелегко было дистанцироваться от собственного наследия. С другой стороны, Айн Ранд и Исая Берлин сосредоточили свой жизненный сценарий на концептуальной охране частной сферы, личной собственности, негативной свободы.¹ Беженцы из большевистской России тоже были знакомы с народным утопизмом, но помнили и силу массового протеста, выплеснувшегося в годы Гражданской войны. Российской проблемой было радикальное ущемление негативной свободы, а вместе с ней и всякого творчества и роста. В интеллектуальной борьбе против тирании русские беженцы могли надеяться на здравый смысл простого человека и старые, аристотелевские рецепты свободы: иными словами, ценности либеральной демократии.

В своем обличении капитализма как “общества работы”, а не общества деяний, Арндт была согласна с философами франкфуртской школы, самыми успешными из американских критиков американского капитализма. По своим политическим убеждениям такие люди, как Герберт Маркузе или Теодор Адорно, были несколько левее Арндт и бесконечно левее Ранд. Немецкие евреи, после эмиграции преуспевавшие в американской академии, все они в своем веймарском прошлом были социалистами. В американской эмиграции они продолжали верить во внутреннюю порочность буржуазии, в непреодолимую дисгармонию общества, основанного на частной собственности, и в возможность окончательного искупления революцией. К трагедии нацизма, к гибели друзей и всей родной культуры прибавлялась горечь эмигрантской жизни с ее языковыми проблемами, трудностями контактов, частыми переездами. Они представили свой опыт беженцев как типическую трагедию современного мира с его отчуждением, изоляцией, атомарностью.

Эти беженцы из нацистской Германии неизменно выбирали для своей эмиграции один путь — на буржуазный Запад и далее в капиталистическую Америку. Они могли поехать противоположным путем, в социалистический Советский Союз, и никто из них не сделал такого выбора. Историки до странности редко задавались вопросом о том, почему жизненные пути философов франкфуртской школы оказались противоположны их философским взглядам.² Возможность пути на Восток иллюстрирует судьба самого мистически настроенного и, одновременно, самого одаренного из франкфуртских философов, Вальтера Беньямина. Он один поехал в Москву и честно пытался работать на Советскую власть: общался с деятелями Интернационала, писал статьи для Большой Советской Энциклопедии, влюбился в московскую красавицу. Жить в Москве было слишком трудно даже для Беньямина; но пока он тратил время на невозможный проект, более практичные коллеги искали и находили работу в Америке.

Вполне очевидно, что причиной совершенного этими людьми выбора была информация о положении в России, которой они в обилии располагали. В веймарской Германии куда лучше знали большевиков, чем в рузвельтовской Америке. Но живя в эмиграции, Адорно и его коллеги посвятили оставшуюся часть творческой жизни безжалостной критике капиталистического производства и его зловещей надстройке, массовой культуры. Мало кто из них любил Соединенные Штаты; почти все сделали свои новые карьеры на обличении местной жизни. Эмигрантский опыт в который раз оказался важен для Америки: свежий взгляд европейца помогал осознать проблемы, которыми маялись местные интеллектуалы. Бунтовщики 1968 года и

популярная культура хиппи так часто повторяли формулы Адорно, Маркузе или еще более левого, умершего в американской тюрьме психоаналитика Уильяма Райха, что само авторство этих идей почти утерялось.

В начале XXI века пришло время признать ошибку этих людей. Случилось обратное тому, что они наблюдали и предсказывали: не распространение законов производства на частную жизнь, но противопоставление работы и жизни, рабочего места и личного дома. Марксистская идея о том, что производственный базис определяет социокультурную надстройку, отражала ситуацию ремесленного производства: сапожник работал в мастерской на первом этаже, его семья жила в надстройке, и все по мере сил участвовали в творческом деле тачания сапог. Паровая машина изменила эти соотношения, но радикально преобразовал их только конвейер. Теперь рабочее место навсегда отделилось от жилья и семьи, и разница приобрела тотальный характер. Рабочие Форда стали домовладельцами, их жены стали домохозяйками. Эффективно и не особенно творчески работая в рационально организованной системе производства, рабочий возвращается в собственный дом и отдает немалый остаток сил своей частной жизни — потреблению, семье, хобби. Конвейер позволил перейти от потогонной системы к новому гуманизму, культивации прав собственности, индивидуального разнообразия, стабильной семьи. Американские историки называют этот процесс, связанный с распространением конвейерного производства, второй индустриальной революцией. Но у него есть и другая сторона: творческие силы рабочего больше не заняты производством, и высшие его потребности удовлетворяются не в рабочем, но в свободное время. Этот расцвет частной жизни далеко не совпадает с тем, о чем Ханна Арендт мечтала как о подлинном действии; и все же это явление выходит из пределы того, что она с пренебрежением называла работой и трудом. Критическая мысль Арендт оказалась верна не для ее времени, но скорее для нашего. В своем воображении Арендт лишила производство и научно-технический прогресс того первостепенного значения, которое имели они в культуре XIX и большей части XX века. Теперь, в XXI, мы наблюдаем, как этот процесс свершается в реальной истории.

Производство, работа как таковая, потеряло свое почетное место в культуре. Нас сегодня мало интересует новая техника — станки, прессы, конвейеры — и те, кто на ней работают. Изобретения в области микрочипов или самолетов едва находят место в наших новостях. Люди стараются жить как можно дальше от заводов; заводы стараются строить как можно дальше от людей. В течение последнего столетия реальные производства перемещались из географических центров цивилизации на ее периферию, и так же вытеснены они из чувствительных центров культурного внимания. Нас интересуют политика и искусство, путешествия и рестораны, состояние финансов и образование детей; нас не интересуют шахты, станки, конвейеры. Эта ситуация кажется естественной; но она разительно отлична от того, что было в XIX веке и в начале XX. Профессия инженера была престижна и высокооплачиваема. Заводы строились с колоннами и скульптурами, как дворцы. Философы, оставив другие заботы, рассуждали о пролетариате. Всего этого больше нет. В своей дискредитации работы, техники и производства Арендт оказалась права, хотя ее вряд ли обрадовало бы постмодернистское переосмысление ее идей. Различение между работой и действием было мотивировано критикой индустриального капитализма, но оказалось реализованным не в героической, а совсем в иной сфере: в постиндустриальном развитии сферы услуг. Пользуясь излюбленной ею аналогией с античным полисом, нетрудно увидеть: главные наши занятия продолжают не дела свободных граждан, но скорее дела рабов.

1 В важном месте главной своей работы, когда Берлин говорит о политиках, относящихся к людям как к “человеческому материалу”, он цитирует Бухарина (Berlin. Two Concepts of Liberty, p. 209)

2 Пионерский анализ эмигрантского выбора франкфуртских философов см. Irving Louis Horowitz. Behemoth. Main Currents in the History and Theory of Political Sociology. New Brunswick: Transaction Publishers, 1999, ch. 10.

Диссидентство технократа

Критикуя Маркса за недооценку публичной жизни и политической речи, Арендт перекосила свой мир в противоположную сторону. Она катастрофически недооценила значение работы, техники, прогресса. В современной технике Арендт с неодобрением видит что-то вроде искусственной оболочки, которой человек окружает себя подобно улитке.¹ Но когда улитки распознают себе подобных, они делают это по своим прекрасным оболочкам, а не по их бесформенному содержанию; и в том, что человек начинает определять себя через свои технические продолжения, от домотканой одежды до интернетовского сайта, нет ничего бесчеловечного. Архитектор или врач делают нас человечными в той же степени, что философ или политик, и предпочтения здесь бессмысленны. Орудия и продукты труда — плуг и скальпель, самолет и компьютер — в огромной и возрастающей степени создают наш человеческий мир. Не менее важно, что машины могут использоваться вопреки своему назначению, каковым является служение пользе и различию; они могут применяться как враги индивида и орудия власти. Дело философа создавать свои инструменты, которые помогали бы разбираться во всех остальных инструментах. Философия Арендт не дает ключей к отношениям между целями и средствами; между добром, которое всякий получает от послушных ему машин, и злоупотреблением ими для слежки или насилия. Ни один режим не охватил мировой революцией всю планету и уже потому не являлся, в строгом смысле слова, тоталитарным. Режиму не удавалось остановиться на достигнутом уровне военной и прочей техники, потому что его внешние враги не довольствовались этим уровнем. Эта проблема имеет первостепенный характер. Именно она привела к катастрофе все тоталитарные режимы, — нацистский, советский, маоистский. Но Арендт пропустила всю проблему как несуществующую. Больше всего ее интересовали возможности политического действия внутри режима, волновали люди французского Сопротивления или венгерской революции; но судьбы мира решались не этими героями. Судьбы мира, каким мы его знаем, решались инженерами ядерных лабораторий и двойными шпионами, но более всего общей эффективностью политической системы. Куда яснее, чем Арендт, эту проблему видел за сто лет до нее Токвиль. Один из вопросов “Демократии в Америке” в том, может ли демократия выдержать военную угрозу диктатуры? Диктатура способна быстрее мобилизовать ресурсы, но в долгосрочной перспективе демократия окажется сильнее и жизнеспособнее, — на сотнях страниц аргументировал Токвиль. Теперь мы знаем, что так произошло и в горячей войне, и в холодной. Диктатура всегда воюет на два фронта, с внешним врагом и с собственными подданными; демократическое правительство воюет неохотно, но если воюет, то в союзе со своим народом.

Тоталитарный режим основан на высоких технологиях слежки, коммуникации и агрессии. Но технологии требуют первооткрывателей, изобретателей и вообще рабочую силу особенного качества. Контроль основан на техническом прогрессе; прогресс требует творчества; творчество требует свободы; свобода подрывает контроль. Непрерывный, мучительный компромисс между знанием и властью подрывает самые основы режима. В этом поле возникает важнейший феномен позднего тоталитаризма: феномен технического гения, который становится в оппозицию режиму

и подрывает его основы. Иначе говоря, герой работы становится основоположником действия. Арендт ощущала эту возможность, но она противоречит важнейшим ее классификациям. “Vita activa”, начавшись с восторга перед советским спутником, кончается так:

Способность к действию [...] все еще с нами, но ныне стала исключительной прерогативой ученых-естественников, которые расширили сферу человеческих дел до точки исчезновения устоявшегося раздела между природой и человеческим миром. В свете этих достижений, осуществлявшихся веками в непревзойденной тишине лабораторий, кажется вполне уместным, что поступки ученых приобрели большую ценность новизны и большее политическое значение, чем административная и дипломатическая деятельность так называемых государственных мужей. Не лишено определенной иронии, что именно те, кого общественное мнение упрямо считало наименее практичными и наименее политическими членами общества, оказались единственными, кто еще знает, как совершать поступки, и кто способен делать это сообща².

Это запоздалое признание мысли — действием, ученого и инженера — героем современной эпохи переворачивает всю систему. Похоже, Арендт кончает тем, с чего начинала Ранд. В романах Айн Ранд ученые или инженеры, сохраняющие способность действия тогда, когда государственные мужи и социальные идеологи ее утрачивают, являлись начиная с антиутопического “Гимна” 1937 года. Тогда еще была очевидна зависимость Ранд от самого тогда успешного из русских романистов на английском языке — Замятина. Новостью жанра, которую придумала Ранд в “Гимне”, была деградация коллективистского общества до уровня каменного века. Как у людей в “Мы”, у людей в “Гимне” нет имен. Как “Мы”, “Гимн” написан от лица технического гения, восставшего против режима в двойную силу любви к знанию и любви к женщине; в обоих романах эти герои записывают свои прозрения для потомков. Ранд дала мотиву Замятина интересное развитие: новые люди, не имеющие частной собственности и не знающие индивидуальных чувств, забыли все личные местоимения. Они знают только слова “Мы” и “Они”, которые применяют к себе и к отдельным другим. Когда главный герой влюбляется в женщину, он формулирует свои чувства так: “Мы думаем о Них”. “Гимн” рассказывает об обществе будущего, обществе после большой войны. Большинство погибло, а уцелевшее меньшинство в попытке предотвратить дальнейшее уничтожение обратило цивилизацию вспять. Все книги сожжены, техника запрещена, и даже упоминание о прошлом запрещено под страхом смерти. Секс отменен, но в целях размножения практикуется дважды в год: партнеры подбираются властью и никогда не видят друг друга. Разделенные на касты, ходящие строем, спящие в общежитиях, люди живут в условиях каменного века. Недавним изобретением, вызывающим мистический трепет, является свеча.

Герой Ранд работает подметальщиком улиц и вступает в незаконный контакт с героиней-крестьянкой. Технический гений, он открывает вход в бесконечный туннель, оставшийся от Неупоминаемых Времен (он не знает слова “метро”). Он устраивает в нем свою тайную мастерскую, экспериментирует с найденными предметами и зажигает лампочку. Он пытается дать вновь найденный свет людям, но подвергается физическому наказанию. Тогда он бежит, вместе с лампочкой и крестьянкой. Найдя заброшенный дом в недоступных горах, полный книг и непонятных, увлекательных предметов, он дает начало новой цивилизации. Первым делом он изобретает слово “Я”.

Ранд меняет экологическую среду антиутопии и, пожалуй, дает новый оттенок политической теории либерализма. У Замятина люди, не имеющие имен и собственности, живущие в прозрачных стенах и марширующие в ногу по два часа в день, делают выдающиеся изобретения.

Мыслимо ли это? Здесь нужна, например, развитая система образования. Но чтобы выучить студента чему-нибудь, кроме строевой подготовки, ему надо дать свободу. Нужна система мотивации: хорошо работающий инженер должен жить лучше, чем плохо работающий, иначе оба будут работать одинаково плохо. Люди, лишённые свободы, не способны к развитию технической цивилизации. Вслед за свободой они потеряют способность к изобретению и творчеству. Такой режим деградирует именно в тех своих аспектах, которые считает единственно важными: в технике, силе и власти. Свобода не есть гуманитарная игрушка, изобретение философов и писателей, но необходимое условие технологического развития.

У Токвиля можно найти все; но даже Замятин, очень умный социальный конструктор, не видел технологического потолка, в который упирается несвобода. Несмотря на солидный опыт либеральной мысли, идея циклических взаимосвязей между свободой и прогрессом принадлежит XX веку и отсутствовала в популярной философии XIX. В “Чевенгуре” Платонова, написанном за 10 лет до “Гимна” Ранд, утопическая коммуна тоже деградирует к каменному веку, а ее голодные идеологи проповедуют, что труд есть проклятое наследие буржуазии. Но ни Ранд, ни Арндт, конечно, не читали “Чевенгура”. Слишком часто оказывается, что открытия в области политической теории делаются не теоретиками, а практиками: писатель, ищущий внятного образа для самых важных своих надежд и страхов, тоже является таковым.

Последняя стачка

Своего расцвета идеи Ранд достигают в двух последних и самых популярных ее романах — “Источник” и “Потрясенный Атлас”. В обоих случаях центральные характеры — выдающиеся инженеры, герои практической работы, гении взаимодействия с земным миром. Они проектируют небоскребы и электрические машины, строят Манхэттен и то, что впоследствии назовут Силиконовой долиной. Они преследуют практический интерес и отрицают социальные условности, налипшие на их искусство и мешающие им работать. Они находятся в прямом контакте с тем, что Ранд называет Реальностью: это физическая материальность мира, которую технический гений обладает способностью приводить в соответствие с высокими потребностями человека. Красивые, умные и сильные женщины, которыми украшены оба романа, тоже воплощают в себе Реальность. В конечном счете природе судить о том, правильно ли построено здание, и она жестоко наказывает плохого архитектора. Так и великолепные героини Ранд награждают или наказывают своих поклонников от лица самой Реальности. У нее женское лицо: она прекрасна, загадочна и пассивна. Реальность и женщины в этих романах ничего не делают, но на все отзываются. Судят они без ошибки, и их любовь неизменно принадлежит инженерам. Но тем мешают сильные люди рузвельтовской Америки — социологи, журналисты и бюрократы левых убеждений. Эти люди живут в плену всего того, что направлено против Реальности: в плену устаревшего стиля, или социальных идей, или мелких своих страстей.

Как голливудские фильмы или романы социалистического реализма, книги Ранд всегда заканчиваются победой правого дела: здание построено, общество спасено, а женщина сама приходит к герою. В центре “Источника” архитектор-конструктивист, который борется с архаическим стилем 1930-х годов, нелепым в эпоху небоскребов. Герой проектирует здания из прямых линий, стекла и стали, но они остаются на бумаге, а Нью-Йорк застраивается стоэтажными дворцами с античными портиками. Главным врагом нашего функционального героя является знаменитый архитектурный критик и левый социолог, который годами убеждает публику в том, что только дорогие фасады с колоннами воплощают подлинно американский дух социальной справедливости и античного героизма. Будущее, конечно, за гениальным архитектором.

Реальность имеет свои средства покарать того, кто нарушает ее права, и она вступает за тех, кто знает и любит ее больше, чем социальные условности. В “Потрясенном Атласе” мы следим за центральным конфликтом рузвельтовской Америки и обсуждаем главную проблему ушедшего столетия: от своих технических изобретений герой переходит к осознанию капиталистической экономики как выдающегося достижения человечества — не только самого эффективного, но и самого нравственного из механизмов социальной жизни.

Забывая о себе, индивидуальные субъекты добровольно вступают в договорные отношения и соревнуются за успех в избранном деле; это и есть капитализм, самая совершенная система из мыслимо возможных. Система символизируется знаком доллара и формулой $A=A$. Современная жизнь вся, от самолета до унитаза или таблетки с витаминами, изобретена умными людьми. Ум инженера, руководителя, организатора производства достоин большей оплаты, чем глупый труд исполнителей. Нет большей справедливости, чем позволить изобретателю самому владеть изобретением и располагать полученной выгодой. Но публика и правительство живут иными идеями. Профсоюзы требуют все больших выплат, налоги повышаются с каждым годом, разница между доходом умных и зарплатой глупых все уменьшается, и инфляция доллара опровергает то, что $A=A$. Под руководством социалистического правительства страна Америка знакомится с дефицитом, очередями, распределителями. Те же профсоюзы, что начали порочный круг своими требованиями незаработанной зарплаты, приступают к масштабным забастовкам. В стране стоят заводы, стройки, железные дороги. Правительство пытается подавить забастовки, но отказывается пересматривать экономическую политику. Социалистические бюрократы в Вашингтоне не понимают происходящего. Они пришли к власти, чтобы бедные стали богаче, а богатые беднее; но получилось только последнее. У правительства нет денег, и любая правительственная мера ведет к росту инфляции. Вместо того, чтобы снижать налоги, правительство повышает их. Протестующие американцы взрывают мосты в Нью-Йорке. Фермеры Южной Дакоты идут в поход на столицу штата, сжигая правительственные здания. Идет гражданская война между Джорджией и Алабамой: южные штаты отрезаны от Севера и погружены в нищету.

Главный герой “Потрясенного Атласа” Джон Голт выступает с радиообращением к нации. Он объясняет кризис лживой социальной теорией и предательством американской традиции. Он обращается не ко всем, но только к тем, кто умен и богат или был бы богат при другом режиме. Он призывает к национальной забастовке собственников, менеджеров и инженеров. Между нашей забастовкой, говорит герой, и всеми предыдущими есть большая разница: наша забастовка заключается не в предъявлении требований, но в ответе на них. Вы в правительстве считаете нас бесполезными эксплуататорами: что ж, мы перестаем эксплуатировать, говорит он социалистам. Теперь, когда мы перестанем работать, мир станет совсем таким, каким вы хотели его увидеть. Все беды, которые вы принесли миру, суть результат вашего непонимания того, что $A=A$. Нет ничего более морального, чем рациональность и хороший счет; и нет ничего более аморального, чем мистические призывы к всеобщему благу, подкрепляемые инфляцией. Всякий диктатор есть мистик, и всякий мистик есть потенциальный диктатор. Мистика и диктатура основаны на согласии без понимания. Человек стал человеком, когда отведал плод с дерева познания и почувствовал желание и стыд. Социализм пытается загнать людей обратно в рай, где они стали бы роботами, лишены знания, творчества и радости. Я, говорит Джон Галт, не испытываю вину за свое знание. Я не буду жертвовать собой ради других и не хочу принимать их жертвы. Я горжусь своим телом, своей собственностью и плодами своего труда. Древние и новые учителя социализма расщепили человека на тело и душу. Они отрицали и отрицают целостность реальности, духовность секса, творческий характер материального труда. От этого страдаем мы —

изобретатели, авторы, творцы цивилизации. Нас объявили аморальными людьми, а наше творчество недостойным делом. Пусть живут без нас. Мы объявляем забастовку.

В этой многостраничной речи Алиса Розенбаум высказала все, что привезла из ленинской России в рузвельтовскую Америку. Несомненно, это лучшая из формулировок философской и политической позиции Ранд. Эта позиция не менее радикальна, чем проект всеобщей забастовки собственников, и так же своеобразно отвечает потребностям момента. Философы часто основывали свои дискурсы на потребностях угнетенных меньшинств, будь то бедные, или женщины, или гомосексуалисты. В мире 1930-х годов угнетенным меньшинством стали капиталисты, и их классовый интерес нашел свой голос в текстах русской эмигрантки. Джон Галт прославляет не капитал, но капиталиста; не радость аскетического накопления и, тем более, не прелести люксового потребления, но ум и знание бизнесмена, изобретателя, менеджера. Тысячи честных людей своим талантом сумели добиться хорошей жизни для себя и своей семьи, а попутно создали небывало разнообразную, стабильную, удобную среду обитания для миллионов, лишенных этого таланта. Неблагодарный мир живет завистью к этим успешным людям, облагает их налогами и сопротивляется их влиянию. Большинство не понимает, что, ущемляя права успешного меньшинства, оно подрывает источник собственного благополучия. Образцовый капиталист, Джон Галт объясняет эту истину социалистическому миру в той привычной форме, в который привык изъясняться этот мир, — в форме забастовки.

“Потрясенный Атлас” кончается вскоре после этой речи; и правда, автору немного осталось сказать. Большой бизнес начинает забастовку. Пытаясь спастись, правительство хочет назначить Галта экономическим диктатором. Тот отказывается от сотрудничества. В надежде склонить его на свою сторону социалисты используют все средства от подкупа до пытки. Как в советском романе, наш герой преодолевает все соблазны и страдания. Как голливудский фильм, история кончается счастливым концом. Америка свергает социалистов и вся становится как Джон Галт. Страна возвращается к утерянной на время вере в силу и успех отдельного человека. Антиутопия Ранд кончается так же, как все прочие произведения жанра начиная с “Мы”: картиной жуткого крушения нового мира, построенного на искусственных законах равенства и несвободы.

Роман был и остается чрезвычайно популярен. Читая “Потрясенный Атлас” в 1974 году, Алан Гринспан восклицал: “Айн, это невероятно. Никто никогда не показывал, что на самом деле значит индустриальный успех”: он значит моральную победу, доблестное свершение, свободный и ответственный поступок. В 1961 году Ранд объявила о культурном банкротстве Америки. Левые интеллектуалы завладели университетами, социальными службами, печатью. Они утверждают, что “Америка, самая благородная и свободная страна на земле, политически и морально ниже Советской России, самой кровавой диктатуры в истории”. Лишь мир бизнеса свободен от коллективизма; но его не слышно и не видно, потому что ему отсечен выход к публике. Чтобы избежать индустриальной контрреволюции, Америке нужна интеллектуальная революция. В книжке 1961 года “За нового интеллектуала” Ранд предсказывала поколение, которое воссоединится с бизнесом, оставит мистику, поверит в силу разума, признает ответственность идей за события, например за экономическое развитие. Она оказалась права, поколение хиппи сменилось поколением яппи.

Ранд не любила слова “либерал” и не признавала себя консерватором. Ее не устраивал существующий порядок вещей, она утверждала его опасность и призывала его переделать; при чем тут консерватизм?

Объективисты не являются “консерваторами”. Мы — радикалы от капитализма; мы боремся за ту философскую фазу, которой капитализм еще не прошел и без которой он осужден на гибель.

Результатом этой гибридизации была редкостная политическая порода: правый радикализм. Фигура Гринспана, недавно назначенного на третий срок в своем офисе, показывает, что идея не была совсем утопической. В “Потрясенном Атласе” американские бизнесмены объявляют национальную забастовку, но спасают Америку от еще большей катастрофы социализма. Здесь, похоже, образы Ранд делают полный круг. Она ищет избавления от своего раннего опыта в России и гарантии того, что он не повторится в Америке. Но она конструирует врагов с темпераментом и настойчивостью, которые куда более свойственны стилю советской родины. Под конец, как избавление и рецепт, она предлагает большому бизнесу Америки осуществить всеобщую стачку, более всего напоминающую события 1905 года в России — время и место ее появления на свет.

Большой спор

В отношении к таким ключевым проблемам нашей западной цивилизации, как техника, работа, рациональность и материальность, нет мыслителей более отличных между собой, чем Айн Ранд и Ханна Арендт. Первая преклонялась перед людьми инженерного труда, создающими сильные машины, высокие здания, умные приборы и, вместе с этим и сверх этого, сам капитализм. Новый капиталистический человек восстановит забытое единство тела и духа. Для Ранд только технические гении, мастера вещественного творчества, освобождают людей от всего, что мешает им жить и работать. Арендт, наоборот, отрицала человеческое содержание техники, товаров и материальности. Стремление людей к свободе и общению не соприкасается с их стремлением создавать вещи, обмениваться ими и этим обогащаться. Эти две реальности столь же отличны, как дух и плоть. Герои старых и новых эпох — люди действия, а не работы. Закрепощение человека, как и его освобождение, целиком свершается в сфере публичной речи и не имеет ничего общего с материальностью жизни.

Романтика героического действия, неприятие социальной жизни и протест против массовой культуры обусловили особенный стиль Арендт. Герметическая сложность мысли сочетается с резкостью монологических формул, которые чаще заявляются, чем доказываются. Последователи и критики десятилетиями спорят о толковании введенных, но не определенных ею понятий. Читатель Арендт чувствует себя объектом ее критического взгляда и, пожалуй, осуждения. Это о читателе, человеке массовой культуры, говорится так много нелестных слов. Обличения обращены ко мне, но моего ответа не ждут и не предугадывают. Это образец замкнутой на себя речи, с которой можно соприкоснуться, но в которой нельзя участвовать. Философ заброшенной в мир элитарности, Арендт искала и находила свое особенное звучание: тихую и высокую, ни с чем не смешивающуюся ноту, которая слышна немногим и не подхватывается почти никем.

Предельно упрощенные, вещественно выпуклые сочинения Ранд контрастны нарочито трудным текстам Арендт. Романы и эссе Ранд переносят философскую речь в обращение масс. Новые и сложные идеи воплощены в простейших литературных формах. Положительные герои всегда красивы, умны и благородны; отрицательные герои подлы, глупы, уродливы. Это эстетика массовой культуры, по форме близкая соцреализму, а по содержанию ему противоположная. Капреализм гораздо жизненнее. В условиях капитализма массовое производство не обезличивает товар, а массовое потребление не лишает его духовной ценности, потому что производитель и потребитель осуществляют свободный выбор. Суть этой системы — по Ранд, не только самой эффективной, но и самой нравственной — в свободе. Философ капитализма и его практик, Ранд сумела создать то, что хотела: успешный потребительский товар, который выдерживает массовое

производство, не теряя своей человеческой ценности. Публичная сфера, любимая идея франкфуртских философов и Ханны Арендт, вся состоит из таких товаров.

Обе наши героини сохранили пожизненный интерес к политическому опыту, полученному в родной стране с ненавистным режимом. Не стоит это интерпретировать в психоаналитическом плане, как навязчивое и неизбежное возвращение ранних политических впечатлений. Более интересно понять мучительную память Ранд и Арендт как подтверждение идеи Ясперса о метафизической вине. Эту вину чувствуют даже те, кто сам не подвергся насилию и не применял насилия. Ее чувствует каждый, кто жил в эпоху тотального несчастья и кому удалось уцелеть. Ранд и Арендт научились применять старую боль к новым условиям, используя европейскую память для американской публики. Обе выстраивали сложные антиутопические конструкции, которые у Арендт носили характер исторической критики европейских режимов недавнего прошлого, а у Ранд разворачивались в беллетристическое предсказание американского будущего. Их голоса, звучащие из другой, более удачливой страны и к ней обращенные, доносят до нас мучительные воспоминания об их несчастных родинах. Счастливые беженки, Ранд и Арендт продолжали быть связаны страданиями, которых сумели избежать.

Эта статья является продолжением серии работ того же автора, опубликованных “Знаменем” (“The American Connection, или Что делал Рахметов, пока не стал Шатовым” — “Знамя”, 1997, № 1; “Иная свобода: Пушкин, Токвиль и демократия в России” — “Знамя”, 1999, № 6). Книга Александра Эткинда “Толкование путешествий. Америка и Россия в травелогах и интертекстах” готовится к печати издательством “Новое литературное обозрение”.

1 Ханна Арендт. *Vita activa*, с. 421.

2 Hanna Arendt. *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press, 1958, p. 324. Как раз в этом ключевом месте перевод В.В. Бибихина становится крайне ненадежным: “it seems only proper” переведено как “уже не кажется уместным”, а “It certainly is not without irony” передано как “Трудно не стать ироничными” (с. 422 русского издания). Вся конструкция приобретает обратный смысл. Эта ошибка, как и положено ошибке первоклассного переводчика, полна значения. Перевод сгладил трансформацию, которую идеи автора претерпевают буквально на последней странице книги.